

# Кактус

## Рассказ

Несмотря на ясный июльский день и сенной запах со скошенного луга, я, принимая хинин, боялся обедать в цветнике под елками, — и накрыли в столовой. Кроме трех человек небольшой семьи за столом сидел молодой мой приятель Иванов, страстный любитель цветов и растений, да очень молодая гостья.

Еще утром, проходя через биллиардную, я заметил, что единственный бутон белого кактуса (*cactus grandiflora*), цветущего раз в год, готовится к расцвету.

— Сегодня в шесть часов вечера, — сказал я домашним, — наш кактус начнет распускаться. Если мы хотим наблюдать за его расцветом, кончающимся увяданием пополуночи, то надо его снести в столовую.

При конце обеда часы стали звонко выбивать шесть, и, словно вторя дрожанию колокольчика, золотистые концы наружных лепестков бутона начали тоже вздрагивать, привлекая наше внимание.

— Как вы хорошо сделали, — умеряя свой голос, словно боясь запугать распускающийся цветок, сказал Иванов, — что послушались меня и убрали бедного индийца подальше от рук садовника. Он бы и его залил, как залил его старого отца. Он не может помириться с мыслию, чтобы растение могло жить без усердной поливки.

Пока пили кофе, золотистые лепестки настолько раздвинулись, что позволили видеть посреди своего венца нижние края белоснежной туники, словно сотканной руками фей для своей царицы.

— Верно, он вполне распустится еще не скоро? — спросила молодая девушка, не обращаясь ни к кому

особенно с вопросом.

— Да, пожалуй, не раньше как к семи часам, — ответил я.

— Значит, я успею еще побренчать на фортепьяно, — прибавила девушка и ушла в гостиную к роялю.

— Хоть и близкое к закату, солнце все-таки мешает цветку, — заметил Иванов. — Позвольте, я ему помогу, — прибавил он задвигая белую занавеску окна, у которого стоял цветок.

Скоро раздалась цыганские мелодии, которых власть надо мною всеильна. Внимание всех было обращено на кактус. Его золотистые лепестки, вздрагивая то там, то сям, начинали принимать вид лучей, в центре которых белая туника все шире раздвигала свои складки. В комнате послышался запах ванили. Кактус завладевал нашим вниманием, словно вынуждая нас участвовать в своем безмолвном торжестве; а цыганские песни капризными вздохами врывались в нашу тишину.

Боже! думалось мне, какая томительная жажда беззаветной преданности, беспредельной ласки слышится в этих тоскующих напевах. Тоска вообще чувство мучительное; почему же именно эта тоска дышит таким счастьем? Эти звуки не приносят ни представлений, ни понятий; на их трепетных крыльях несутся живые идеи. И что, по правде, дают нам наши представления и понятия? Одну враждебную погоню за неуловимую истиной. Разве самое твердое астрономическое понятие о неизменности лунного диаметра может заставить меня не видеть, что луна разрослась на востоке? Разве философия, убеждая меня, что мир только зло, или только добро, или ни то, ни другое, властна заставить меня не содрогаться от прикосновения безвредного, но гадкого насекомого или пресмыкающегося, или не слышать этих зовущих звуков и этого нежного аромата? Кто жаждет истины, ищи ее у художников. Поэт говорит:

Благоговевя богомольно  
Перед святыней красоты.

Другой высказывает то же словами:

Не кончив молитвы,  
На звук тот отвечу  
И брошусь из битвы  
Ему я навстречу.

Этому, по крайней мере, верили в сороковых годах. Эти верования были общим достоянием. Поэт тогда не мог говорить другого, и цыгане не могли идти тем путем, на который сошли теперь. И они верили в красоту и потому ее и знали. Но ведь красота-то вечна. Чувство ее — наше прирожденное качество.

Цыганские напевы смолкли, и крышка рояля тихонько стукнула.

— Софья Петровна, — позвал Иванов молодую девушку, — вы кончили как раз вовремя. Кактус в своем апофеозе. Идите, это вы нес скоро увидите.

Девушка подошла и стала рядом с Ивановым, присевшим против кактуса на стул, чтобы лучше разглядеть красоту цветка.

— Посмотрите, какая роскошь тканей! Какая девственная чистота и свежесть! А эти тычинки? Это папское кропило, концы которого напоены золотым раствором. Теперь загляните туда, в глубину таинственного фиала. Глаз не различает конца этого не то светло-голубого, не то светло-зеленого грота. Ведь это волшебный водяной грот острова Капри. Поневоле веришь средневековым феям. Эта волшебная пещера создана для них!

— Очень похоже на подсолнух, — сказала девушка и отошла к нашему столу.

— Что вы говорите, Софья Петровна! — с ужасом воскликнул Иванов, — в чем же вы находите сходство? Разве в том только что и то и другое растение, да что и то и другое окаймлено желтыми лепестками. Но и между последними кричащее несходство. У подсолнуха они короткие эллиптические и мягкие, а здесь, видите ли, какая лучистая звезда, словно ковванная из золота. Да сам-то цветок? Ведь это храм любви!

— А что такое, по-вашему, любовь? — спросила девушка.

— Понимаю, — ответил Иванов. — Я видел на вашем столике философские книжки или, по крайней мере, желающие быть таковыми, и вот вы меня экзаменуете. Не стесняясь никакими в мире книжками, скажу вам: любовь это самый произвольный, а потому самый искренний и обширный диапазон жизненных сил индивидуума, начиная от вас и до этого прелестного кактуса, который теперь в этом диапазоне.

— Говорите определеннее, я вас не понимаю.

— Не капризничайте. Что сказал бы ваш учитель музыки, услышав эти слова? Вы, может быть, хотите сказать, что мое определение говорит о качествах вещи, а не об ее существовании. Но я не мастер на определения и знаю, что они бывают двух родов: отрицательные, которые, собственно, ничего не говорят, и положительные, но до того общие, что если и говорят что-либо, так совершенно неинтересное. Позвольте же мне на этот раз остаться при своем, хотя и одностороннем, зато высказывающем мое мнение...

— Ведь вы хотите, — прервала девушка, — объяснить мне, что такое любовь, и приводите музыкальный термин, не имеющий, по-моему, ничего общего с объясняемым предметом.

Я не выдержал.

— Позвольте мне, — сказал я, — вступить за своего приятеля. Напрасно вы проводите такую резкую черту

между чувством любви и чувством эстетическим, хотя бы музыкальным. Если искусство вообще недалеко от любви (эроса), то музыка, как самое между искусствами непосредственное, к ней всех ближе. Я бы мог привести собственный пример. Сейчас, когда вы наигрывали мои любимые цыганские напевы, я под двойным влиянием музыки и цветка, взалкавшего любви, унесся в свою юность, во дни поэзии и любви. Но чтоб еще нагляднее оправдать слова моего приятеля, я готов рассказать небольшой эпизод, если у вас хватит терпения меня выслушать.

— Хватит, хватит. Сделайте милость, расскажите, — торопливо проговорила девушка, присаживаясь к столу со своим вязаньем.

— Ровно 25 лет тому назад я служил в гвардии и проживал в отпуску в Москве, на Басманной. В Москве встретился я со старым товарищем и однокашником Аполлоном Григорьевым. Никто не мог знать Григорьева ближе, чем я, знавший его чуть не с отрочества. Это была природа в высшей степени талантливая, искренно преданная тому, что в данную минуту он считал истиной, и художественно-чуткая. Но, к сожалению, он не был, по выражению Дюма-сына, из числа людей знающих (*des hommes qui savent*) в нравственном смысле. Вечно в поисках нового во всем, он постоянно менял убеждения. Это они называют развитием, забывая слово Соломона, что это уже было прежде нас. По крайней мере, он был настолько умен, что не сетовал на то, что ни на каком поприще не мог пустить корней, и доваривал, что ему не суждено процветать. В означенный период он был славянофилом и носил не существующий в народе кучерской костюм. Несмотря на палящий зной, он чуть не ежедневно являлся ко мне на Басманную из своего отцовского дома на Полянке. Это огромное расстояние он неизменно проходил пешком и вдобавок с гитарой в

руках. Смолоду он учился музыке у Фильда и хорошо играл на фортепиано, но, став страстным цыганистом, променял рояль на гитару, под которую слабым и дрожащим голосом пел цыганские песни. К вечернему чаю ко мне нередко собирались два-три приятеля-энтузиаста, и у нас завязывалась оживленная беседа. Входил Аполлон с гитарой и садился за нескончаемый самовар. Несмотря на бедный голосок, он доставлял искренностию и мастерством своего пения действительное наслаждение. Он, собственно, не пел, а как бы пунктиром обозначал музыкальный контур пьесы.

— Спойте, Аполлон Александрович, что-нибудь.

— Спой, в самом деле! — И он не заставлял себя упрашивать. Певал он по целым вечерам, время от времени освежаясь новым стаканом чаю, а затем, нередко около полуночи, уносил домой пешком свою гитару. Репертуар его был разнообразен, но любимую его песней была венгерка, перемежавшаяся припевом:

Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка,  
С голубыми ты глазами, моя душечка!

Понятно, почему эта песня пришлась ему по душе, в которой набегавшее скептическое веяние не могло загасить пламенной любви, красоты и правды. В этой венгерке сквозь комически-плясовую форму прорывался тоскливый разгул погибшего счастья. Особенно оттенял он куплет:

Под горой-то ольха,  
На горе-то вишня;  
Любил барин цыганочку, —  
Она замуж вышла.

Однажды вечером, сидя у меня один за чайным столом, он пустился в эстетические тонкости вообще и в похвалы цыганам в особенности.

— Да, — сказал я. — Цыганской песни никто не сплет, как они.

— А почему? — подхватил Григорьев. — Они прирожденные кровные, а не вымуштрованные музыканты. Да и положение их примадонн часто споспешествует делу. Любовь для певца та же музыка. Эх, брат! — вскрикнул он вдруг, вытирая лоб пестрым платком, — надо показать тебе чудо. Ты знаешь, я часто таскаюсь в Грузины в хор Ивана Васильева. Он мой приятель и отличный человек. Там у них есть цыганочка Стеша. Ты ее не знаешь? Не заметил?

— Где же мне ее было заметить? Я почти нигде не бываю.

— Ну, так надо тебе ее увидеть. Во-первых, она — прелесть. Какие глаза и ресницы и, я знаю твою страсть к волосам, какие волосы! Но этого мало. Надо, чтобы ты ее услышал с глазу на глаз. Бедняжка влюблена в одного гусара. Я его видел. Действительно красавец, каналья. А ты знаешь, как хор ревниво бережет своих примадонн. Тут, брат, идиллиями не возьмешь. Выкупи! — а на это мало охотников. Уж не знаю, как они там путаются. Но, видно, дело не выгорает, а девочка-то врезалась. После обеда хор-то разойдется отдохнуть, а она возьмет гитару да сядет под окошечко — словно кого поджидает. Запоет, и слезы градом. Тут нередко Иван Васильев подойдет и вполголоса ей вторит. Жалко, что ли, ему ее станет, или уж очень забористо она поет, только, поглядишь, он тут как тут. Вот как бы тебя подвести под эту штуку, ты бы узнал, как поют. Поэзия — да и только! Да вот, чем откладывать, я завтра к тебе приду в двенадцать часов, а в час мы поедем. Ведь ваша братия, кавалеристы, плохие ходоки.

— Да как же, любезный друг, я-то вотрюсь? Ведь она при мне и петь не станет.

— Ну, это я как-нибудь оборудую. Едем, что ль?

— Хорошо, приходи.

На другой день хотел было я велеть запрячь свою скромную пролетку, но подумал: Григорьев без гитары не придет. Убеждать его — дело напрасное. А куда я в мундире поеду через всю Москву с каким-то не то кучером, не то торбанистом, что подумает плац-адъютант? Я велел нанять извозчичью карету. В двенадцать часов вошел Григорьев с гитарой, в поддевке, в плисовых шароварах в сапоги, словом, по всей форме.

— Что ж это мы в карете? — спросил он.

Я сослался на зубную боль, которую, в добрый час молвить, во всю жизнь не страдал. Однако он догадался, и начались препирания.

Тем не менее мы доехали до Грузин и бросили карету невдалеке от цыган. Григорьев быстро зашагал звонить, а я подоспел вовремя, когда дверь отворили.

В передней уже слышалось бряцание гитары и два голоса.

— Это она, — шепнул Григорьев и вошел в залу. Я за ним.

— Здравствуйте, Стеша! — сказал он, протягивая руку сидящей у окна девушке с гитарой. — Здравствуй, Иван Васильевич! Продолжайте, я вам не помеха.

Но девушка, ответив на его рукопожатие, бросила недоверчивый взгляд в мою сторону и, положив гитару на стол, быстро пошла к двери, ведущей во внутренние покои. Григорьев так же быстро заступил ей дорогу и схватил ее за рукав.

— Куда вы? Что за вздор? Ну, не хотите петь, не пойте. Что ж из себя дикую птицу корчить? Для кого? Иван Васильевич, да уговори ее посидеть с нами! Я пришел ее, дорожку, проведать, а она вон. Ну, садитесь,



садитесь, моя хорошая, — говорил он, подводя ее на прежнее место. Начался разговор про разные семейные отношения членов хора, в продолжение которого Григорьев, между речами, под сурдинкой наигрывал разные мотивы. В течение всей этой сцены я, чтобы скрыть свое неловкое положение, пристально рассматривал в окно упряжку стоявшего по другую сторону улицы извозчика, словно собирался ее купить.

— Присядьте, — сказал мне подошедший Иван Васильевич. Я сел.

— Ты об нем не беспокойся, — сказал Григорьев, — он, братец, не по нашей музыкальной части. Его дело — лошади. Он, пока мы поболтаем, пусть себе посидит да покурит.

Я махнул отчаянно рукой и снова обернул голову к окну изучать извозчика. Между тем Григорьев, наигрывая все громче и громче, стал подпевать. Мало-помалу сам он входил в пессию, а как дошел до своей любимой:

Под горой-то ольха,  
На горе-то вишня;  
Любил барин цыганочку —  
Она замуж вышла —

очевидно, забыл и цель нашего посещения и до того загорелся пением, что невольно увлекал и других. Когда он хлестко запел:

В село красно стеганула.  
Эх — стеганула,  
Моя дорогая —

ему уже вторил бархатный баритон Ивана Васильева. Вскоре, сперва слабо, а затем все смелее, стал проникать в пение серебряный сопрано Стеша.

— Эх, господи! Да что же я тут вам мешаю, — воскликнул Григорьев. — Мне так не сыграть, а не то чтобы спеть. Голубушка Стеша, спойте что-нибудь, прибавил он, подавая ей ее гитару.

Она уже без возражений запела, поддерживаемая по временам Иваном Васильевым. Слегка откинув свою оригинальную детски задумчивую головку на действительно тяжеловесную с отливом воронова крыла косу, она вся унеслась в свои песни. Уверенный, что теперь она не обратит на меня ни малейшего внимания, я придвинул свой стул настолько, что мог видеть ее почти в профиль, тогда как до сих пор мог любоваться только ее затылком. Когда она запела:

Вспомни, вспомни, мой любезный,  
Нашу прежнюю любовь —

чуть заметная слезинка сверкнула на ее темной реснице. Сколько неги, сколько грусти и красоты было в ее пении! Но вот она взяла несколько аккордов и запела песню, которую я только в первой молодости слыхивал у московских цыган, так как современные петть ее не решались. Песня эта, не выносящая посредственной певицы, известная:

Слышишь ли, разумеешь ли...

Стеша не только запела ее мастерски, но и расположила куплеты так, что только с тех пор самая песня стала для меня понятна как высокий образчик народной поэзии. Она спела так:

Ах ты злодей, ты злодей.  
Добрый молодец.  
Во моем ли саду  
Соловей поет,  
Громко свищет.  
Слышишь ли,  
Мой сердечный друг?  
Разумеешь ли,  
Жизнь, душа моя?

Песня исполнена всевозможных переливов, управляемых минутным вдохновением. Я жадно смотрел на ее лицо, отражавшее всю охватившую ее страсть. При последних стихах слезы градом побежали по ее щеке. Я не выдержал, вскочил со стула, закричал: браво! браво! и в ту же минуту опомнился. Но уже было поздно. Стеша, как испуганная птичка, упорхнула.

— Что же вы на это скажете, скептическая девица? Разве эта Стеша не любила? Разве она могла бы так петь, не любя? Стало быть, любовь и музыка не так далеки друг от друга, как вам угодно было утверждать?

— Да, конечно, в известных случаях.

— О скептический дух противоречия! Да ведь все на свете, даже химические явления происходят только в известных случаях. Однако вы пьете воды и вам надо рано вставать. Не пора ли нам на покой?

Когда стали расходиться, кактус и при лампе все еще сиял во всей красе, распространяя сладостный запах ванили.

Иванов еще раз подсел к нему полюбоваться, надышаться и вдруг, обращая ко мне, сказал:

— Знаете, не срезать ли его теперь в этом виде и не поставить ли в воду? Может быть, тогда он проживет до утра?

— Не поможет, — сказал я.

— Ведь все равно ему умирать. Так ли, сяк ли.

— Действительно.

Цветок был срезан и поставлен в стакан с водой. Мы распрощались. Когда утром мы собрались к кофею, на краю стакана лежал бездушный труп вчерашнего красавца кактуса.

**1881**